

Государство. Общество. Управление: Сборник статей / Под. ред. С. Никольского
и М. Ходорковского. М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2013. 511 с.

Вышедший недавно в издательстве «Альпина паблишер» сборник под названием «Государство. Общество. Управление» проходит по части «проектного» книгоиздания. То есть, разумеется, практика составления (и издания) сборников научных статей по какой-либо сравнительно узкой проблеме совершенно обычна — однако эта книга под редакцией Михаила Ходорковского и заместителя директора Института философии РАН Сергея Никольского представляет собой, кажется, нечто иное.

«Государство. Общество. Управление» — это пятисотстраничный том, в начале которого помещен специально по этому случаю написанный в жанре манифеста текст Михаила Ходорковского, а в конце — эссе Иммануила Канта «Ответ на вопрос: что такое Просвещение?», впервые опубликованное в декабрьском номере «Берлинского ежемесячного журнала» за 1784 год. Между Ходорковским и Кантом располагаются три раздела, в общей сложности двадцать статей — не считая трех вступительных текстов составителя, по одному на раздел. Собственно, открывающий и закрывающий книгу тексты дают представление о тематическом диапазоне сборника и — об амбициях Сергея Никольского, который, насколько можно понять, поставил себе целью собрать под одной обложкой тексты, не просто анализирующие нынешнее бедственное положение многострадального отечества, но и создающие своей совокупностью аксиологическое как минимум основание для выработки *новой либеральной программы*. Помимо текста Ходорковского, в начало книги вынесена «Большая история Вацлава Гавела», русский

перевод введения, написанного ветераном «Солидарности» Адамом Михником для книги «Сила бессильных». Читать Михника всегда интересно, но этот текст оказывается к тому же неожиданно актуальным во вполне газетном смысле: Гавел остается для русских интеллектуалов модельной (пусть и значительно мифологизированной) фигурой сопротивления, о чем, в частности, свидетельствует неожиданно частое обращение к его истории в ходе политических дискуссий последнего времени.

Во вступлении к первому, состоящему из шести статей, разделу книги под названием «Философия об общих проблемах государства и общества» Никольский констатирует разрыв между российской, условно говоря, современной политологией и философией: «когда ученые, разрабатывающие вопросы государственного управления, обращаются к философии, они нередко, как и прежде, ограничиваются “выдергиванием цитат”, подходящих тезисов. Но даже если они все же пытаются выйти на философский уровень обсуждения, то делают это таким образом, будто философами не была проделана многогранная исследовательская работа и им приходится начинать “с чистого листа”» (с. 47–48). Эрих Соловьев (ИФ РАН) разбирает здесь трактат Канта «О вечном мире», попутно анализируя представления философа о праве, функциях государства и совершая экскурс в область истории понятий, а точнее понятия *«res publica»*. Светлана Неретина (ИФ РАН, РГГУ) в еще одной любопытной статье того же раздела дает обзор (к сожалению, более поверхностный и краткий, нежели

тема того заслуживает) проблемного поля, связанного с языком, который мы используем для разговора об «обществе, государстве и управлении». Так, в частности, Неретина обращает внимание на то, что наш современный российский термин «государство» означает даже не *«kingdom»*. «Русское “государство” <...> на деле сохранило не только монархический смысл единства, но и смысл цезаризма, то есть диктатуры» (с. 131). Лапидарность Неретиной отчасти восполнена в этом же разделе статьей Александра Огурцова (ИФ РАН, «Вопросы философии») «Власть: от метафор к нейтральному языку описания», в которой автор задается вопросом о том, «может ли политическая мысль вообще избавиться от метафор и тропов при формировании исходных понятий, которые кладутся в основание политических концепций, притязующих на звание политических теорий?». Огурцов кратко описывает историю метафор власти/общества с библейских («пастырь/стадо») времен до Гегеля и Маркса, завершая свое рассуждение выводом о том, что «политическая мысль двигалась и продолжает двигаться в пространстве, образованном метафорами и понятиями, которые принадлежат к разным эпохам или формам деятельности, в том числе применяя экономические понятия к политическим реалиям, а юридические — к управленческим» (с. 103, 122).

Следующий раздел сборника — «Государство как институт и инструмент» — посвящен анализу проблем государственного управления в российском государстве и обществе. Здесь сборник переходит к формально более актуальной проблематике: это видно, в том числе и из списка авторов раздела, в число которых входят, в частности, Евгений Гонтмахер и Владимир Рыжков. Сергей Никольский, написавший для раздела статью «Современная Россия: этап национального государства», рассматривает современную Россию как постимперское образование, в

котором власти «все больше ориентируют развитие государственности в попятном направлении — восстановления квазимонархии или даже империи». Альтернативой — причем неизбежной — является, согласно Никольскому, «национал-демократическое» (гражданское) государство, как решающее задачи «утверждения свободного предпринимателя-гражданина в качестве его основного субъекта, укрепление права как основы жизнедеятельности граждан и повышение уровня культуры». Иными словами, в своем тексте, являющемся для книги одним из ключевых, Никольский артикулирует идеи, которая так или иначе возникают и у других авторов сборника: гражданской нации в России еще только предстоит возникнуть; исторический этап национального государства неизбежен; выбранный нынешним режимом путь ведет в тупик, поскольку «существующую в России неоднородность экономического состояния регионов, разные ступени социального, политического и культурного развития их населения, помноженные на прямо противоположные тренды их сегодняшних цивилизационных ориентаций (от патерналистски-феодалных до самостоятельно-демократических) нельзя “стабилизировать” и “равнять” путем возврата ушедших вперед к отставшим. Можно только создавать условия для “подъема” вторых к первым» (с. 208). Примерно о том же не так давно говорил Эмиль Паин: «Россия беременна нацией, подспудно ее большинство хочет стать нацией, но только не знает какой — этнической или гражданской»¹. Никольский однозначно дает понять, что говорит о гражданской нации, игнорируя вместе с тем обозначенную Паиным проблему.

В остальных статьях раздела где более, где менее подробно обсуждаются различные манифестации природы нынешнего российского государства. Так, Владимир Порус (НИУ ВШЭ) пишет о современной

русской бюрократии, пытаюсь вернуть историческое и социологическое измерения в постоянное (и не слишком продуктивное) обсуждение причин ее неэффективности. Порус довольно пессимистичен — не могу подобрать другого слова, хотя автор специально просит не употреблять его. Причины «уродства нынешней бюрократии» он видит в культурном кризисе, уже переросшем в культурную катастрофу. Последняя, по мнению автора, «всеохватна и никакие сферы жизни не остались незатронутыми». В особенности — «сфера властных отношений». Порус видит основную проблему не в разрушении системы культурных универсалий (каркасов) как таковой. По его мнению, «расчистив руины, все-таки можно было бы поставить новые культурные каркасы, была бы только воля и хватило бы сил». Настоящую беду автор видит в том, что «гаснет идея культуры, утрачивается вера в то, что человек обретает самого себя только в культуре» (с. 243–244). Наталья Зубаревич (НИУ ВШЭ) в статье «Управление развитием пространства Российской Федерации: коридор возможностей» рассматривает проблемы российского государства в пространственном ракурсе. Она видит три основных задачи регионального развития: снижение барьеров для распространения по территории страны любых инноваций; рост мобильности (то есть снова снижение барьеров — финансовых и институциональных — в виде регистрации, неразвитой ипотеки, и т. д.) и, наконец, стимулирование конкуренции городов и территорий при одновременном развитии горизонтального взаимодействия. Решение этих задач, по мнению Зубаревич, возможно только на пути децентрализации и дерегулирования (имеется в виду расширение полномочий властей на местах). Помимо этого, в статье кратко очерчены контуры бюджетной реформы. В частности, Зубаревич утверждает, что существующее распределение федеральных,

региональных и местных налогов является препятствием к увеличению доходной базы. На опасения относительно того, что отказ от унитарной модели приведет к распаду страны, автор отвечает, что напротив, «все более усиливающаяся угроза распада создает неэффективная и тупиковая по своим целям политика “сверхцентрализации”» (с. 357).

Наконец, третий раздел книги сфокусирован на человеке и обществе. Алексей Левинсон (Левада-Центр) в статье «Российское общество: на пути к “среднему классу”?», во-первых, проблематизирует само понятие, утверждая, что в России существует «множество людей, исходящих из того, что средний класс в России есть». «Это множество, — пишет далее Левинсон, — представляет собой если не собственно средний класс, то особую социальную группу, *интерес которой состоит в укоренении представления о наличии среднего класса*» (с. 402) (курсив мой — С. Л.). Автор анализирует динамику того, что принято называть в России средним классом, и находит, что если мы определяем его так, как это происходит на условном Западе — то есть через модус и критерии потребления, то окажется, что в России он в очень значительной степени состоит из государственных служащих. Левинсон дает довольно подробный исторический анализ динамики, которая привела к такому положению дел и утверждает, что в связи со спецификой устройства российской экономики (небольшой высокодоходный сырьевой сектор плюс большой низкооборотный сектор сервиса и государственной службы), российское общество имеет часть признаков постиндустриального, но, по сути, сохраняет внутри себя структуры и ценности предыдущего, индустриального этапа. Ценности российского «среднего класса» совпадают с ценностями большинства. Таким образом, создать массовую партию, которая боролась бы за его политическое представительство, он не то, чтобы не

может, — скорее не хочет, поскольку в общем не имеет специфических политических взглядов или требований. Более того, механизм количественного увеличения этого слоя заключается в том, что государство, по сути, выделяет этот российский средний класс из самого себя, тем самым еще более укрепляясь, поскольку государственные служащие оказываются в этом случае реакционной, если угодно, социальной группой. Субъектом же протестов 2011–2012 годов Левинсон видит, насколько можно понять, интеллигенцию — пусть и трансформировавшуюся, но в ценностном смысле также сохранившуюся и даже обеспечившую себе известный уровень воспроизводства. Интеллигенция, по мысли автора, составила основу «активной части», выделившейся из российского среднего класса после сентября 2011-го. Модель эта выглядит весьма убедительной, в том числе и потому, что позволяет объяснить многие события последних полутора лет.

Вадим Межуев (ИФ РАН) в тексте «О возможности демократической оппозиции в современной России» в известном смысле оппонирует Левинсону, говоря о том, что недовольство в современной России носит массовый характер. Межуев при этом не вводит явного различия между недовольными и теми, кто хочет «перемен в политической системе»; более того, он имплицитно, кажется, отождествляет эти множества — ход вовсе не очевидный. Однако далее Межуев переходит к анализу природы нынешнего кризиса и характеризует его не как политический, а как конституционный. По мнению автора, он может быть преодолен «лишь путем внесения определенных поправок, уточнений и дополнений в Конституцию», которые должны «исключить любую попытку узурпации власти со стороны частных лиц или отдельных партий» (с. 431–432, 437). Собственно, демократической Межуев называет не всякую оппозицию нынешней власти,

а ту, которая видит ядром политической программы переход от режима личной власти к парламентской демократии. Любопытное наблюдение Межуева состоит в том, что формирование демократического (а на самом деле, скорее республиканского) консенсуса затрудняет двойственная природа вызовов, с которыми сталкиваются российские демократы. С одной стороны, это вызов со стороны «реликтов традиционного общества с его абсолютизацией самодержавной власти», а второй — «со стороны общества, признающего в качестве своей высшей ценности рыночную систему отношений». Далее Межуев поясняет, что во втором пункте имеет в виду «неолиберализм». Если наиболее эффективной стратегией противостояния вызовам первого рода является классический либерализм, то против «антидемократических вызовов рынка» он, согласно Межуеву, бессилен, а потребны здесь, напротив, левые. Необходимость реагировать на то и другое синхронно требует, согласно автору, компромисса между либералами и социал-демократами, о котором, правда, как Межуев не без горечи замечает, мечтали еще Плеханов с Мартовым — результат известен.

Политолог Дмитрий Дробницкий в статье «Кто такие “рассерженные горожане”»: размышления о выступлениях зимы 2011–2012 годов» предлагает скорее не анализ, а метафору, называя недавние протесты «меритократическим феодальным бунтом», в котором объединились «образованные и добившиеся определенных успехов бизнесмены и специалисты, студенты, в своих планах видящие себя средним классом, врачи и преподаватели, знающие, как живут их коллеги в развитых странах, люди интеллектуального труда, не считающие себя низшим сословием». Меритократическим, по Дробницкому, бунт этот является потому, что все вышеперечисленные «хотят, чтобы их ценили за знания, умения и достижения, а не за бли-

зость к ресурсу и личную преданность его распорядителю» (с. 463). Следом за такими выступлениями, по мнению автора, должна наступить «некая разновидность буржуазной демократии», но до этого, с одной стороны, «очень далеко», а с другой — людей этих «можно либо выдавить из страны, либо попытаться обмануть, либо подавить и дожидаться, пока их заменит поколение “Пепси”».

Написать сколько-нибудь подробно удалось, разумеется, далеко не обо всех статьях сборника, среди которых попадаются более и менее интересные, более и менее тривиальные. Встречаются, конечно, и целые статьи, о которых не знаешь, что и думать. Например, Владимир Рыжков предлагает программу реформы российского парламентаризма, целиком состоящую из благих намерений, не подкрепленных сколько-нибудь продуманными представлениями о механизмах, которые обеспечат описываемое благоразумие.

Все это — частности, однако у сборника есть одна проблема, постоянно напоминающая о себе по ходу чтения и еще одна (как я подозреваю, связанная с первой), о которой задумываешься, перевернув последнюю страницу. Первая — в неопределенности, если можно так сказать, жанра. Для научного сборника «Государство. Общество. Управление» включает в себя слишком много статей, основным содержанием которых является в целом политологический или исторический ликбез, да и вообще многие статьи близки скорее к эссе, чем к научной работе. Для книги, адресованной широкому читателю, сборник, напротив, включает слишком много текстов, требующих какой-никакой подготовки, то есть как минимум знания контекста или хотя бы навыка чтения современных гуманитарных исследований. Вторая проблема — состав авторов: дело в том, что в сборни-

ке не представлены ни иностранные ученые, ни русские ученые, постоянно живущие на Западе и работающие в европейских/американских университетах. Это обстоятельство, по меньшей мере значительно обедняющее сборник, можно объяснить разве что желанием составителей продемонстрировать своего рода лояльность, причем лояльность, как ее можно понимать исключительно в рамках нынешней государственной идеологии, находящейся в процессе перехода от «суверенной демократии» к изоляционизму.

Однако принятие соответствующих правил игры имеет смысл в одном-единственном случае: если адресатом сборника являются нынешние политические элиты или, по крайней мере, какая-то их часть. Да, действительно, возникает ощущение, что «Государство. Общество. Управление» исполнено в жанре «наставления властителю» — ощутимо эволюционировавшем, но сохранившем целеполагание. Огурцов на страницах сборника пишет — безоценочно, в рамках исторического экскурса, — что «именно так выглядело всякое рассуждение об управлении до возникновения юридического способа мышления». Я не слишком хорошо представляю себе состояние нынешнего российского «политического истеблишмента» и, возможно, переоцениваю влияние отрицательного отбора на их формирование, однако и авторы/составители, кажется, не слишком хорошо понимают, для кого пишут.

Вполне возможно, что условным адресатом текстов сборника вообще не являются представители нынешних элит. Но уверенно можно говорить о том, что предполагаемым читателем данного сборника является некто, способный более или менее одновременно думать об актуальном контексте в свете идей Канта, с интересом читать Михника и сочувствовать национал-демократическим идеям Никольского. Причем этот некто не просто способен обо всем этом

думать, но к тому же еще и занимается или собирается заниматься политикой. Многие из нас знают по три-четыре человека со столь широким спектром интеллектуальных интересов — однако среди них скорее всего нет действующих политиков и почти нет гражданских активистов.

Из текстов раздела книги, посвященного «гражданскому обществу и человеку», между тем отчетливо видно, что определение политического субъекта — сегодняшнего и, тем более, завтрашнего — наиболее трудная из тех задач, что ставят перед собой авторы книги (и не только они). «Государство. Общество. Управление» как раз и обращено к этому ускользающему, неопределимому субъекту. Кто он? Представитель воображаемого «ответственного криптообщества» внутри российской власти? Просто непрозрачная фигура умолчания? Большинство вошедших в книгу текстов слишком явно предполагают заинтересованного в советах умных людей слушателя на том конце про-

вода, отчего их трудно причислить к сфере науки. Одновременно они предполагают у читателя (или все того же слушателя) навыки рефлексии, редкие для обычной клиентуры практических руководств.

Дискурсивная неопределенность этой книги свидетельствует, по-видимому, о неопределенности (почти в гейзенберговском смысле) субъекта политического в нынешней России. И о том, что в состоянии растерянности пребывает не только «широкая общественность» и политический истеблишмент, но и большая часть академического сообщества.

Сборник «Государство. Общество. Управление» собрал под своей обложкой достаточно текстов, которые в любом случае можно рекомендовать к прочтению. Однако именно проступающее с его страниц ощущение тревоги перед неразличимыми сегодня контурами будущего делает его действительно важным документом, фиксирующим наше нынешнее состояние. ■

СТАНИСЛАВ ЛЬВОВСКИЙ

ПРИМЕЧАНИЯ ¹ См.: Политическая ситуация и общественные настроения в России // Сайт Фонда «Либеральная миссия». 19.06. 2013 (<http://www.liberal.ru/articles/6169>).

Шейнис В. Власть и закон: Политика и конституции в России в XX—XXI веках.
М.: Мысль, 2014. 1088 с.

Одну из самых острых проблем, вокруг которых в России ведутся горячие споры, можно сформулировать так: почему все попытки ввести в стране полноценную конституционную демократию неизменно кончаются провалом и возвращением к авторитарной конструкции власти? Для нынешней России эта проблема отнюдь не академическая, поскольку усиливающиеся консервативно-реставрационные настроения в обществе и политическом классе ставят под вопрос сохранение действующей конституции, принятой в 1993-м. В год 20-летнего юбилея этого документа можно констатировать, что в обществе отсутствует согласие относительно заложенных в основной закон либеральных принципов: одни с тревогой, другие с удовлетворением говорят о растущем отрыве права от реальности, об эрозии конституционных норм и о перспективах их изменения.

Вызов консервативной политической романтики особенно заметен в области права. Обществу представлена целая библиотека конституционных проектов и предложений о поправках, авторы которых настаивают на отказе от «навязанной ельцинской конституции», будто бы отторгаемой населением, или на ее радикальном пересмотре в сторону «национальной идеи», «защиты традиционных ценностей» и возврата к неким «исконным принципам» российской государственности¹. Ответом со стороны власти на этот социальный «запрос» стали принятые и проектируемые поправки в конституцию и законодательство, которые могут существенно ограничить юридическую трактовку конституционных принципов плюрализма, демократии, светского государства, федера-

лизма, разделения властей, местного самоуправления, независимости судебной власти и особенно гарантий политических прав и свобод личности².

Означает ли все это завершение очередного конституционного цикла и предстоящий возврат России к традиционной патерналистски-авторитарной модели власти? Или существует возможность как-то скорректировать или сдержать реставрационные тенденции и сохранить общий либеральный вектор правового развития? Рассмотрению этих вопросов посвящена рецензируемая книга Виктора Шейниса. Это — фундаментальный труд, итог большой работы и длительных размышлений автора. Необычен формат книги: в ней соединены научный анализ, воспоминания и публицистика. В основу концепции книги положен не сухой формально-юридический анализ, а рассмотрение правовых отношений с позиций социологии права и политической науки. Это, как справедливо полагает автор, особенно важно для России, где властные отношения зачастую значат больше, чем их правовые ограничители.

Явление российского конституционализма рассматривается в длительной исторической перспективе — начиная с конституционных проектов Сперанского и идей начала XIX века, охватывает период Великих реформ 1860-х годов, а также конституционные идеи и проекты периода первой русской революции. Изучение российского «исторического конституционализма» — необходимая предпосылка понимания его развития и современного положения³. Четко сформулирована и основная исследовательская проблема, о которой уже было сказано: почему либеральная трактовка прав человека, правового госу-

дарства, разделения властей, либеральной конструкции политического режима, столь последовательно представленная еще в начале XX столетия, полноценно не реализовалась до настоящего времени?

Вполне убедительна принятая в книге периодизация изучаемого явления — подразделение истории российского конституционализма на три больших периода: 1) переход от абсолютизма к неустойчивой модели дуалистической монархии в начале XX века и от нее к демократической республике в феврале 1917-го; 2) господство номинального советского конституционализма в большей части XX столетия; 3) поиск выхода из этой ситуации в конце XX века, продолжающийся вплоть до наших дней. Я разделяю общий вывод исследования — о незавершенности российского конституционализма, о продолжении борьбы в нем демократических тенденций с авторитарными, которые сейчас вновь стали преобладающими.

Изменения политической системы: власть или закон определяет политику?

Применительно к России есть все основания считать, что именно власть, а не закон определяет политику. Можно даже сказать, что это «инвариант российского конституционализма на протяжении всей его истории» (с. 15). Но представляется, что сам выбор между властью и законом — в известной мере ложная дилемма. С позиций когнитивной теории права можно говорить о юридическом конструировании реальности, предполагающем разработку некоторых правил игры, фреймов восприятия, которые провозглашаются (и закрепляются в праве) властью и которым власть должна следовать в целях поддержания собственной легитимности. В основе любого стабильного правового порядка (не обязательно демократического) лежит политический консенсус, который определяет для власти модус ее отношений с обществом.

Сама власть, отражая социальный запрос, вырабатывает конституции и сама же определяет порядок следования этим конституциям, а следовательно, и степень возможных и социально допустимых отклонений от конституционного порядка. И если она хочет действовать независимо от правовых норм, то должна научиться обходить эти правовые нормы и как минимум объяснить обществу причины этих отступлений. Поэтому, я думаю, нужно говорить о сложном взаимоотношении между правом и властью даже в тех случаях, когда право не работает.

Исходя из сказанного, период номинального советского конституционализма заслуживает, как мне кажется, более пристального внимания. Номинальность советского конституционализма есть для меня (как и для автора книги) — бесспорный факт, поскольку ни одна советская конституция не вводила реальных гарантий прав личности, ограничений власти и тем более механизмов их практического осуществления. Но следует ли из этого вывод автора о неизменности соотношения правовых норм и политических институтов на всем протяжении существования советского режима? Хотел бы отметить, что сам факт существования номинального конституционализма не исключает разных стратегий развития. В советской ситуации мы имеем такую трактовку номинального конституционализма, при которой политическая власть, по существу, вообще игнорировала существование конституций (рассматривая их как сугубо идеологический инструмент), а принимаемые решения и их исполнение, как правило, шли вразрез с действующим законодательством. Конституционный миф и политическая реальность достигают здесь наивысшей степени противостояния.

Другой важный момент состоит в том, что советский номинальный конституционализм имел определенные социальные функции, которые менялись с течением времени. Одна

из этих функций состояла в легитимации режима внутри страны и особенно за ее пределами (значение этой функции возрастало по мере эрозии революционного мифа). Другая функция была мобилизационной: появление всех советских конституций было связано так или иначе с изменениями в идеологии, причем сопровождалось массовыми идеологическими кампаниями (так называемое «всенародное обсуждение Конституции»). Третья функция — камуфлирование реальных политических процессов — проявлялась в том, что принятие всех советских конституций (1918, 1924, 1936 и 1977 годов) фактически совпадало с усилением политических репрессий и новой консолидацией элиты после них.

В свете этого ясно, что номинальный советский конституционализм не был монолитом, лишенным развития. Внутри номинального конституционализма происходила определенная трансформация, связанная с изменением формулы политической власти и функционирования избирательной системы. С этой точки зрения, я позволю себе поспорить с автором насчет того, что брежневская конституция 1977 года не внесла «никаких существенных изменений в существующий порядок» (с. 333), если ее сравнить, например, со сталинской конституцией 1936-го. Зачем вообще нужно было принимать эту конституцию? — спрашивает автор, но оставляет этот вопрос без ответа. Однако конституция, как известно, включила статью 6 о руководящей и направляющей роли партии (по сути — номенклатуры). И это была единственная статья во всех советских номинальных конституциях, которая полностью соответствовала реальности, а ее действие никогда не ставилось под сомнение.

Таким образом, получается, что политическая власть не соблюдала конституции, но притом формула этой власти представлена в ней достаточно логично. Прослеживается

и эволюция этой формулы: если в первых советских конституциях партия вообще не упоминается, то в последней она конституционно зафиксирована, причем поставлена над правом. Преемственность в правовом определении реальной политической власти заключается как раз в том, что эта власть стоит над правом и формирует его, оставаясь вне конституционного контроля.

События 1917 года и Перестройка

Еще один важный вопрос, поставленный для обсуждения, — это причины неудачи двух исторических попыток прорыва к демократии: в 1917 году и в период Перестройки. Думаю, что объяснение данных срывов следует искать в цикличности конституционного развития. Исхожу я из того, что цикличность вообще присуща развитию конституционализма в мире, определяясь соотношением позитивного права и меняющихся социальных ожиданий⁴. Конституционный цикл состоит из трех основных фаз: отказ от старой конституции, принятие новой и последующее согласование конституции и созданных ею институтов с социальной и политической реальностью. При этом цикличность может иметь не очень выраженную, размытую смену фаз или, наоборот, проявляться в жестком чередовании фаз конституционного развития. В последнем случае конституционный цикл способен развернуть ситуацию вспять — вплоть до возврата к исходному отправному пункту — доконституционному положению. Данная логика представлена в странах, традиционно не восприимчивых к правовому регулированию общественного развития. Именно такая ситуация характерна для России 1917 года, и она же воспроизводится в период от начала Перестройки до настоящего времени (который тем самым предстает как самостоятельный большой цикл российского конституционализма). Почему в 1917-м не удалось реализовать демократическую

конституцию? Я полагаю, что были, конечно, объективные причины в виде, прежде всего, мировой войны и экономической рецессии, а также кризиса классического европейского парламентаризма в межвоенный период. Данный срыв либеральной демократии и конституционализма — не исключительно российский феномен, а проявление общего кризиса либеральной демократии в Европе того времени. Но были, разумеется, и субъективные причины. К ним относятся неразработанность полноценной стратегии переходного периода (связанная с отсутствием у либералов того времени исторического опыта), довольно спорная концепция Учредительного собрания и тактические ошибки Временного правительства⁵.

Если обратиться к горбачёвской Перестройке, то здесь также имеются объективные и субъективные факторы срыва демократических реформ. Кризис, приведший к Перестройке, имел, по-моему, не столько экономический или политический, сколько социально-психологический характер. Общий кризис коммунизма как идеологии в мировом масштабе стал отправной точкой политической, а вслед за ней и социальной трансформации. Это позволяет говорить о Перестройке не столько как о революции — а в книге Шейниса она интерпретируется именно так, — сколько как о реформации⁶. В основе данного процесса лежит когнитивный диссонанс — конфликт общественного сознания: поколение людей периода Перестройки, столкнувшись с переходом от параноидальной культуры сталинского времени к гедонистической культуре массового общества, оказалось не готово жертвовать своим благосостоянием во имя счастья будущих поколений. Этот психологический диссонанс между идеологическими стереотипами и социальными ожиданиями эпохи глобализации резко изменил социальные установки и мотива-

цию поведения, приведя в конечном счете к отказу от советской идеологии, номинального конституционализма и однопартийного режима. Распад этих опорных конструкций советского режима вызвал, по всей видимости, крушение СССР (на пике его военного могущества).

Перестройка, как убедительно показано в книге, была грандиозным и чрезвычайно позитивным событием, означавшим выход из тупика советской диктатуры. Но она не дала продуманной целостной концепции изменений. Это важно отметить для современных дискуссий, в том числе о «Перестройке-2». Идеологи Перестройки апеллировали к «подлинным» коммунистическим ценностям, говорили о необходимости восстановления мифических «ленинских принципов», утраченных будто бы в ходе последующего советского строительства. Отсюда противоречивость программы Перестройки.

Возрождение псевдокоммунистической риторики и ленинской фразеологии камуфлировало отсутствие позитивной программы конституционной модернизации. Отсюда — неуверенная и робкая попытка соединить «преимущества» социализма с гарантиями собственности и рыночными стимулами к труду. Отсюда — ошибочная концепция федерализма, связывавшая его осуществление с решением так называемого «национального вопроса», включая деструктивный (по существу конфедералистский) принцип национального самоопределения вплоть до отделения. Отсюда — совершенно наивное решение вопроса о власти, сведенного к тому, как «передать» эту власть от партии к Советам, представлявшим собой в реальности то же самое, что и партия. В общем — потеря времени и упущенная стратегическая инициатива. Деятели Перестройки, отмечает Шейнис, «не осознавали последствий своих действий для фундаментальных основ существующего порядка» (с. 341), не имели «последователь-

ной программы перемен», «не обладали способностью программного мышления» (с. 346), а решение проблемы усматривали в «ограничении политической монополии правящей номенклатуры» и отмене статьи 6 (с. 343–345). Сегодня мы должны видеть не только позитивное значение Перестройки, но и те ошибки, которые были допущены реформаторами в ходе ее осуществления.

Итак, и в 1917-м, и в 1985 году в срыве демократического процесса существенную роль сыграли определенные объективные факторы. Они были показаны еще русской дореволюционной юридической школой: географический фактор — огромные пространства страны и разнообразие регионов, особый механизм отношений общества с государством, доминирующая роль государства и бюрократии в проведении модернизации, логика смены реформ и контрреформ и т. д. Но я согласен с Шейнисом в том, что при объяснении социальных и политических процессов новейшей истории действие этих факторов не имело абсолютного характера. Мы не можем поэтому принять различные детерминистские неославянофильские теории типа концепции вечной «русской системы», неких неизменных «констант» русской истории, «неодолимости колен» (с. 16). Как и в случае 1917-го, нужно отметить и роль субъективных причин, особенно качества лидеров и разработанности научной концепции реформ. По всей видимости, научной концепции переходного периода не было ни в 1917-м, ни в 1985 году. И это следует признать основной причиной срыва демократии. Если мы хотим избежать подобных срывов в будущем, то, безусловно, нужна очень четко продуманная концепция реформ — их масштаба, последовательности, сроков и т. д. То есть необходима разработка подобных реформ на уровне политтехнологии, а не только на уровне неких общих идеологем.

Конституционная революция 1993 года

Не менее важный вопрос — оценка конституционной революции 1993 года. Но именно при рассмотрении этой проблемы, как мне кажется, мемуарист берет в авторе верх над ученым. Эмоциональное отношение к событиям новейшей истории страны, в которых Шейнис принимал деятельное участие, порой мешает их беспристрастной оценке. Я имею в виду то, что некоторые реальные противоречия, которые были актуальны в разгар Перестройки и в 1990-е годы, не кажутся столь уж важными сегодня. В частности, жесткое противопоставление двух исторических эпох, олицетворяемых, соответственно, Горбачёвым и Ельциным, не выглядит убедительным в наше время. Эти эпохи выступают не столько как антитеза, сколько как логическое продолжение одного периода другим, как последовательная смена фаз одного процесса. Противоречия экономических программ Григория Явлинского и Егора Гайдара, о которых подробно говорится в книге (с. 548–558), предстают скорее как спор о тактике, а не о стратегии, поскольку оба политика стремились к рыночным реформам в России, но видели их по-разному. И, наконец, противоречие между конституционной программой Горбачёва и конституцией Ельцина мне представляется также не столь радикальным, поскольку в обоих случаях была сконструирована формально смешанная, но в действительности президентская система, президент получал почти монархические полномочия, в частности, право определять направления внутренней и внешней политики страны. И в этом смысле наблюдается полная преемственность двух периодов.

Шейнис, на мой взгляд, несколько идеализирует деятельность Съезда народных депутатов и Верховного Совета. Он очень тщательно и критично анализирует их деятельность по созданию конституции, интерпретируя ее

как «конституционную» работу. Автор называет Верховный Совет парламентом, а депутатов — парламентариями. Насильственный роспуск Верховного Совета в этой логике есть «падение парламента»⁷. Я сильно сомневаюсь, что Верховный Совет можно определить как парламент — и с теоретической, и с практической точки зрения. Тем более что в книге хорошо показано обратное. Съезд и Верховный Совет не были демократически избранными собраниями, не предполагали полноценного разделения властей и соответствующей политической ответственности, имея вследствие этого ограниченный объем легитимности. Верховный Совет был открыто манипулируемым институтом.

Поэтому я думаю, что если даже Конституционная комиссия ВС СССР разработала очень хороший проект конституции, то он просто не имел шансов быть принятым этим Верховным Советом. При отсутствии полноценной юридической процедуры роспуска Верховного Совета Ельцину не оставалось ничего другого, как разогнать его, то есть совершить конституционный переворот. Очевидно, что это было юридически неправильно, но политически — верно. Стоит ли в таком случае сожалеть о неконституционном роспуске Верховного Совета, особенно с учетом нынешних лицемерных разговоров консерваторов о «трагических событиях» и «расстреле Парламента» в 1993-м и т. п. Мне кажется, что действия Ельцина в период кризиса 1993 года были единственно правильными. Ельцин, по существу, стоял перед тем же выбором, что и Керенский, но, к счастью, не повторил его ошибки.

В отношении Конституции 1993-го я также предложил бы несколько иную перспективу дискуссии, в частности, при объяснении современных реставрационных тенденций. Логика автора, когда он говорит о Конституции 1993 года, покоится на трех основных аргументах. Первый: Конституция

была принята незаконно — с разрывом правовой преемственности, с юридическими нарушениями и возможной фальсификацией результатов всенародного голосования. Все это, безусловно, так. Второй аргумент состоит в том, что тот способ разрешения кризиса власти, к которому прибег Ельцин, привел к перекосу в разделении властей в пользу президентской ветви. Это, наверное, также верно. Суть третьего аргумента в том, что этот конституционный перекося стал основой последующих реставрационных тенденций, заложив предпосылки «для регенерации авторитаризма в иных формах» (с. 846).

В результате «под покровом Конституции 1993 года происходила реставрация авторитаризма» (с. 22). Вот с этим я бы поспорил. Хотел бы обратить внимание на то обстоятельство, что многие демократические конституции были приняты в результате как фактических, так и юридических переворотов. Примером могут служить конституции США, Франции или Португалии. Я уже не говорю о конституциях ФРГ или Японии, которые и вовсе были приняты в условиях иностранной оккупации. Многие демократические конституции разрабатывались в закрытом режиме, без выраженного социального контроля, и потом в готовом виде выносились на референдум. Например, конституция Пятой республики Шарля де Голля, которого современники не без оснований обвиняли в узурпации власти путем плебисцита. Наконец, ряд конституций допускал перекося в сторону либо исполнительной, либо президентской власти. Та же конституция США наделяет президента почти монархическими полномочиями. Более того, американский президент избирается не путем прямых выборов. Таким образом, все аргументы, высказанные автором, легко меняют знак с отрицательного на положительный. Ведь эти конституции не привели к реставрации авторитаризма. Демократия сохранилась. Получается,

что данные аргументы не объясняют нам реставрационных тенденций в современной России. Но в таком случае можно ли, согласившись с автором, обвинять конституционную модель 1993 года в программировании последующих реставрационных тенденций?

Я думаю, что основная проблема заключается не столько в редактировании статьи о разделении властей и отступлении от первоначального «демократического» варианта (спорного и противоречивого, а, по мнению иностранных экспертов, и нефункционального)⁸, сколько в проблеме исторической неподготовленности общества к принятию модели реальных конституционных ограничений власти. Это — центральный вопрос, и уже от его решения зависит свобода действий власти по отношению к конституции: воспринимает власть конституцию как номинальную или как реальную и каким образом пытается ее обойти. Поэтому, полагаю, в реальной исторической обстановке 1990-х годов оптимальный выход из кризиса состоял в нахождении некоторой версии просвещенного авторитаризма в стиле, например, республиканской монархии Шарля де Голля. И, думаю, в этом не было ничего необычного. Подобный вариант трансформации авторитарных режимов демонстрируется многими современными примерами. И это отнюдь не является источником современных реставрационных тенденций.

Контрреформы нулевых годов: власть и общество перед испытанием кризиса

Перехожу к контрреформам «нулевых» годов. Чем объясняются реставрационные тенденции? Конечно, ключевое понятие этого периода — реставрация. Я пытался найти его четкое определение в книге, но не нашел. По-видимому, реставрацию автор понимает как простое возвращение к старому. Но ключевой вопрос реставрации — возвращение к чему? Реставрация не обязательно сугубо

негативное явление. Особенность российского политического развития состоит как раз в том, что в истории русской революции, в отличие от французской и английской революций, не было полноценной реставрации. Я имею в виду реставрацию монархии. Милюков в свое время считал восстановление конституционной монархии оптимальным способом выхода из революционного кризиса. Если говорить о Европе, то такие мыслители, как Де Местр, Шатобриан, Токвиль, указывали на то, что реставрация — это правовое государство, завершение революции, возврат к стабильности, а значит, основа последовательного правового развития в либеральном направлении⁸. И, между прочим, это также альтернатива коммунизму. Некоторые современные авторы, указывая на опыт Испании, видят в конституционной монархии возможный инструмент переходного периода и путь к правовому государству. Если понимать реставрацию таким образом, то, я считаю, либералы должны поддержать данную интерпретацию реставрации — как восстановления тех ценностей, которые существовали в классическом российском конституционализме дореволюционного периода¹⁰. Но есть и другая версия реставрации — в советском ее понимании. Она означает отказ от доктрины прав человека, восстановление авторитарного режима и суррогатных форм народного представительства (в виде земских соборов или советских съездов). Поскольку в России реставрационные процессы сильно смещены во времени (по сравнению с европейскими странами), возникает вопрос о том, как эти две трактовки реставрации сочетаются у нас сегодня. И, нужно сказать, ответ не так прост, как кажется.

Мне представляется, что имеют место обе реставрации: и реставрация реального конституционализма, и реставрация советских идеологических стереотипов. В свое время, еще в 2000-м, я написал, что наша

постсоветская политическая система сильно напоминает бонапартизм по своей идеологической конструкции, системе ценностей, по тому, как разрешаются вопросы структуры власти, по тому, как трансформируется конституция¹¹. С этим связаны большие отступления в конституционализме. Это эрозия принципов 1993 года, сначала ползучая, без изменения конституции, а с 2008-го уже путем внесения поправок в конституцию. Сейчас, по-видимому, речь идет о системной трансформации конституции и, более того, о системной трансформации идеологии общества. Лейтмотивом официальной доктрины становится призыв к созданию новой национальной идеи, переосмыслению российских традиций с позиций патриотизма, не в последнюю очередь — советского. Этот путь может завершиться соответствующим изменением конституции. Поэтому, мне представляется, что постановка проблемы реставрации очень важна. Важно определить, какой реставрации мы хотим, если считать, что реставрация — это объективное завершение революции.

Возможна ли «Перестройка-2»?

Принципиальный стратегический вопрос, поставленный в книге, — это возможность «Перестройки-2» и перспектива либеральных преобразований (с. 1035). Но Перестройка исторически привязана к определенному периоду. Это период декоммунизации, когда решались другие задачи, — не те, которые стоят сегодня. Кроме того, историческая Перестройка была внутренне противоречива, прежде всего, на уровне содержательных идей. Концепция Перестройки, на мой взгляд, не решила ряда фундаментальных проблем, которые остаются и сегодня. Это проблемы национальной идентичности и формирования гражданской нации; выработки полноценной стратегии федерализма, которой у нас нет, и т. д. И, наконец, это про-

блема ухода от авторитаризма, потому что авторитаризм как раз опирается на нерешенность указанных вопросов. Авторитаризм позиционирует себя как единственную силу, которая способна удержать единство страны в условиях отсутствия всех остальных скреп. Это очень важно. От этого нельзя отмахнуться, если мы хотим разработать полноценную стратегию либеральных реформ.

Но если мы отвергаем концепцию «Перестройки-2», то это не значит, что мы отвергаем идею либеральных преобразований. Напротив, эта идея чрезвычайно актуальна, и именно она ставит в центр политической повестки дня вопрос конституционной реформы. Шейнис предлагает общую концепцию такой реформы, с которой я в принципе согласен. Это историческая концепция, которая присутствовала еще в период Великих реформ Александра II, и заключается она в союзе гражданской инициативы снизу и деятельности главы государства-реформатора сверху (с. 1035–1036). Но данная конструкция содержит потенциальную угрозу авторитаризма, поскольку предполагает значительную самостоятельность лидера. Во всяком случае, те позитивные реформаторы, которых называет автор, — Витте, Столыпин, Горбачёв и южнокорейские президенты, — все они были авторитарными лидерами, хотя проводили в жизнь либеральную программу.

Мне приятно констатировать, что автор и я во многом едины в представлениях о масштабах конституционной реформы и методах ее осуществления (с. 115–116). В рецензируемой книге используется проект «Института права и публичной политики», в котором участвовал и я. В проекте предложена своя версия конституционных реформ¹². Суть этой концепции состоит в отказе от радикального пересмотра действующей конституции, так как этот путь, говоря словами Шейниса, «опасен и непредсказуем» (с. 1012). Авторы про-

екта выступают противниками немедленного созыва Учредительного (Конституционного) собрания, которое в современных условиях может привести только к эрозии конституционных ценностей 1990-х. Они исходят из того, что нужна последовательная конституционная реформа, которая предполагала бы в первую очередь трансформацию законодательства, институтов, правоприменительной практики и отмену действия так называемых неформальных практик (во многом антиконституционных). Как видим, ресурс конституционных принципов далеко не исчерпан. Отказываться от них не нужно, особенно в контексте новейших популистских и советско-реставрационных тенденций. Силами, которые способны реализовать такую реформу, могли бы стать гражданское общество, экспертное сообщество и та перспективно мыслящая часть политической элиты, которую можно определить понятием «просвещенная бюрократия».

Конституционный оптимизм versus конституционный пессимизм

И, наконец, последний вопрос, который мне кажется очень важным, — это соотношение пессимизма и оптимизма в отношении перспектив конституционной реформы и вообще политических изменений. Надо сказать, что Шейнис неоднократно называл себя «неисправимым оптимистом». Это стоит отметить, особенно на фоне панических настроений, присущих части либеральной интеллигенции. Я думаю, что в этом историческом оптимизме состоит реальная основа для противодействия различным версиям политической романтики, будь то консервативная или леворадикальная, которые хотят все отбросить, сломать и начать с нуля.

Я нашел в книге три основания для оптимизма. Первое основание, о котором говорит автор, состоит в том, что «бывало и хуже», и это действительно так. Второе основание для оптимизма заключается в том, что в нынешней ситуации трудно действовать, но можно мыслить, разрабатывать конституционные программы и даже предлагать пути их осуществления, что очень важно для консолидации демократических сил. Третье основание я бы сформулировал так, как это сделал Евгений Ясин, который определил современную политическую ситуацию как «дефектную демократию на грани авторитаризма»¹³. Данная формулировка дает основание для пессимизма, поскольку демократия — «дефектная», но и для оптимизма, поскольку это все же демократия.

Здесь наши с Шейнисом точки зрения сходятся, особенно когда мы говорим о мнимом конституционализме, предполагая, что конституционализм существует, но его функционирование сопровождается большим количеством изъятий и деформаций, которые препятствуют его адекватной реализации. Фактически это ситуация неустойчивого равновесия, когда чаша весов склоняется то в ту, то в другую сторону. Результат реформ в конечном счете зависит от того, насколько гражданское общество окажется способно поддержать этот курс. Если выяснится, что реформационная инициатива становится преобладающей, то различные слои бюрократии очень быстро примкнут к реформаторам. Курс либеральных реформ в конечном счете отвечает интересам правящей элиты, поскольку обеспечивает стабильность собственности, власти и положения ее представителей в обществе. ■

АНДРЕЙ МЕДУШЕВСКИЙ

ПРИМЕЧАНИЯ ¹ Power and Legitimacy – Challenges From Russia. L.; N. Y.: Routledge, 2013.

² Основы конституционного строя: Двадцать лет развития. М., 2013.

³ Конституционные проекты в России XVIII – начала XX в. М., 2010.

⁴ Медушевский А.Н. Теория конституционных циклов. М., 2005.

⁵ Выборы во Всероссийское Учредительное собрание в документах и воспоминаниях современников. М., 2009.

⁶ Медушевский А.Н. Перестройка и причины крушения СССР с позиций аналитической истории // Российская история. 2011. № 6. С. 3–30.

⁷ Шейнис В. Взлет и падение парламента: Переломные годы в российской политике (1985–1993). М.: МЦК, 2005. Т. 1–2.

⁸ Подробно см.: Из истории создания Конституции Российской Федерации: Конституционная комиссия: стенограммы, материалы, документы (1990–1993). М., 2007–2010. Т. 1–6.

⁹ См., напр.: Жозеф де Местр. Рассуждения о Франции. М., 1997.

¹⁰ Российский либерализм середины XVIII – начала XX века. М., 2010.

¹¹ Медушевский А.Н. Бонапартистская модель власти для России // Вестник Европы. 2001. № 1.

¹² Конституционные принципы и пути их реализации: Российский контекст / Аналитический доклад. М., 2014.

¹³ Ясин Е.Г. Приживется ли демократия в России. М., 2012. С. 804.